

Иван Бунин

Учитель



*Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) — знаменитый писатель и поэт, первый русский обладатель Нобелевской премии по литературе, академик Санкт-Петербургской Академии наук. Провел много лет жизни в эмиграции, став одним из главных писателей русского зарубежья.*

# Иван Бунин

## Учитель

### I

Накануне сочельника учитель земской школы в Можаровке, Николай Нилыч Турбин, занимался очень неохотно. Класс был наполовину пуст. Турбин с усилием дотягивал занятия до половины второго. За последнее время во многих неприятностях и в утомительной работе он подкреплял себя напряженным ожиданием праздника и надеждой съездить домой. Но ехать оказалось не на что. Турбин давно уже понял, что никуда не поедет, но сказать себе это определенно все оттягивал. Теперь больше всего хотелось остаться одному. «Обсудим, обсудим!» — думал он беспокойно, прикрывая глаза, и ребята думали, что он или сердит, или нездоров. И правда, к концу занятий у него начало ломить в левой стороне головы.

Когда же школа опустела, Турбин со злобой прихлопнул дверь в передней и быстро пошел в свою комнату.

— Пусть будет так! — сказал он и, хмурясь, скинул с себя пиджак. Повесив его под простыню на стену, он накинул на себя длинный тулуп,

крытый казинетом, и лег на кровать. «Ночной зефир струит эфир...» — напевал он мысленно. В голове стояло одно и то же: «Пусть будет так! — черт его побери, не ехать, так не ехать... эка важность!» Тащиться к дьячку обедать не хотелось. Левая сторона головы продолжала болеть. Он обмял плечом подушку поудобнее и старался не шевелиться.

Сквозь дремоту он слышал, как приходил сторож Павел, обивал от снега лапти, крякал с мороза, сморкался и гремел ведрами; видел сквозь полузакрытые веки, что в комнате разливается отсвет заката, и чувствовал, что от холода стынут ноги и кончик носа...

## II

Турбину шел двадцать четвертый год. Был он белокур, очень высок ростом, худ и от застенчивости очень неловок. Был он сын сельского дьякона, учился в семинарии, но курса не кончил: по бедности пришлось вернуться домой; дома он все выписывал программы, думая приготовить то в юнкерскую, то в межевую школу. Кончил, однако, экзаменом на сельского учителя и рад был этому. Жить дома было тяжело. Матери он не помнил, а дьякон отличался болезненно-угрюмым характером; лицо у него было, как на старинных

иконах у схимников, — темное, деревянное, фигура сухая, сутулая; говорил он глухим басом и все кашлял, заправляя за ухо длинные косицы седых волос. Даже тон его был всегда один — такой, словно он старался вразумить, растолковать, образумить.

Однако, проживши год одиноко, Турбин стал вспоминать об отце с тоской и нежностью, дни и ночи мечтал о поездке домой. Он все обманывал себя надеждами на будущее: вот, мол, дай только это время пережить, а там... все пойдет прекрасно. Лето он пробыл на кондиции — из-за одного содержания — у богатого лесорубщика и думал отправиться домой в августе, хотя неделки на две. Но нужно было справиться к зиме тулуп. Осенью он надеялся на Святки. Со всеми подробностями представлял он себе, как приедет домой... долго будет сидеть с отцом в первый вечер за самоваром, в знакомой чистой и теплой хате, задушевно будет говорить с ним до поздней ночи. А потом поедет в большое торговое село к двоюродной сестре; у сестры будут каждый вечер гости, барышни и молодые люди с фабрики. «Надо будет захватить с собою гитару», — думал Турбин.

Чтобы скопить денег, он от священника перешел обедать и ужинать к дьячку. Но в ноябре отец написал ему, что он должен ехать в губернский город лечиться, и просил денег. Чтобы

предупредить отказ, письмо было строго и властно. Внизу же была приписка: «А последнее мое слово: имей Бога и сознание, пожалей мою старость». И учитель отослал все свое сбережение. Осталась надежда заработать корреспонденциями. Он стал почти ежедневно посылать в губернский город статейки под заглавием: «Родные отголоски» и за подписью «Ариель». Но из них взяли только пару заметок — о дождях и о несчастном случае на винокуренном заводе.

### III

Школа стояла одиночкой, на горе. Слева были церковь и кладбище, походившее на запущенный сад, справа — косогор. Дорога шла из полей мимо училища влево под гору. Под горой, ниже кладбища, жили духовные; против них, через дорогу, стояли лавка и кабак Грибакина. На той стороне, за речкой, была усадьба Линтварева с белыми хоромами и скучно синеющими рядами елей перед ними. Винокуренный завод вечно дымился в стороне от нее, над речкой. Подле него находились неуклюжие заводские строения — очистные, подвальные — и домики на манер железнодорожных — для служащих.

С завода приходили к Грибакину гости — старый барский повар, всеми уважаемый за его

поездку в Иерусалим, о которой он постоянно со смирением и важностью рассказывал, и за его близкое знакомство с интимной жизнью господ, конторщики, подвальные, дистиллятор, медник. Это был народ, лавочнику нужный; по вечерам они забавлялись у него стуколкой. Турбин избегал попадать на такие вечера: его усаживали за карты, а он не любил проигрываться. Да и Грибакин обходился с ним учтиво, но холодно. Весной он заметил, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться с учителем какие-то особенные разговоры, заметил и не подал виду, выжидая, что дальше будет: такой он был благообразный и вежливый старичок в опрятной серой поддевочке. И правда, учитель нравился лавочнице. Но он старался отделяться от нее шуточками. Она сперва покрикивала на него — «это еще что за новости?» — а потом начала звать гулять на кладбище и все чаще напевать сдержанно-страстно, прикрывая, как бы в изнеможении, глаза:

Вот скоро, скоро я  
уеду,  
Забудь мой рост, мои  
черты!

Тогда Турбин стал пропадать по вечерам в

поле. «Пойдут сплетни, — думал он, — различные неприятности... немислимо!» И лавочница стала говорить ему при встречах дерзости.

«Ага, — думал Грибакин, — перековала язычок!»

В гостях на заводской стороне учитель бывал у дистиллятора Таубкина. Таубкин, молодой еврей, рыжий и золотушный, в золотых очках для близоруких, был человек очень радушный, и у него собиралась большая компания. Но между нею и учителем отношения тоже как-то не завязывались. Учитель дичился, а заводские все были друг с другом запанибрата, — все жили дружно, одними интересами, часто бывали друг у друга, пили портвейн и закусывали сардинами, танцевали под аристон, а после играли в «шестьдесят шесть». Старшие рабочие на заводе из очистной, здоровые мужики в фартуках, отличались во всем грубой решительностью и собственным достоинством. Учитель некоторых из них побаивался даже, — например, посыльного на почту: говорил ему «вы», давал на водку, но посыльный все-таки поражал его своим презрительным спокойствием.

## IV

Осень началась солнечными днями.

По воскресеньям Турбин с утра уходил в поле,



туда, где видны были на горизонте станция и один за другим уходящие вдаль телеграфные столбы. Его тянуло туда, потому что в ту сторону поезд должен был унести его на родину.

С утра было светло и тихо. Низкое солнце блестело ослепительно. Белый, холодный туман затоплял реку. Белый дым таял в солнечных лучах над крышами изб и уходил в бирюзовое небо. В барском парке, прохваченном ночью сыростью, на низах стояли холодные синие тени и пахло прелым листом и яблоками; на полянах, в солнечном блеске, сверкали паутины и неподвижно рдели светло-золотые клены. Резкий крик дроздов иногда нарушал тишину. Листья, пригретые солнцем, слабо колеблясь, падали на темные, сырые дорожки. Сад пустел и дичал; далеко виден был в нем полураскрытый, покинутый шалаш садовника.

Не спеша, учитель всходил на гору. Село лежало в широкой котловине. Ровно тянулся ввысь дым завода; в ясном небе кружили и сверкали белые голуби. На деревне всюду резко желтела новая солома, слышался говор, с громом неслись через мост порожние телеги... А в открытом поле — под солнцем, к югу — все блестело; к северу горизонт был темен и тяжел и резко отделялся грифельным цветом от желтой скатерти жнивья. Издалека можно было различить фигуры женщин, работающих на картофельных полосах, медленно

едущего по полю мужика. Золотистыми кострами пылали в лощинах лесочки. Кирпично краснели крыши помещичьих хуторов. Учитель напряженно смотрел на них. Им овладевало беспокойство одиночества, тянуло в эту неизвестную ему среду, в новую обстановку, где жизнь, как ему казалось, проходит свободно, легко, весело. И за думами о помещичьей жизни он совсем не видел простора, красоты, которая была вокруг.

На месте срубленного леса белела щепка, среди обрубленных сучьев и поблекших листьев возвышались три длинные, тонкие березки с уцелевшими макушками. Их очертания так хорошо гармонировали с открытыми далями. А Турбин, при виде этих березок, всегда вспоминал, что здесь он встретил жену Линтварева. С Линтваревыми он познакомился и встречался несколько раз на станции. Они держали себя с ним просто и даже ласково. Про Линтварева было слышно, что он окончил курс в университете, увлечен земскими делами, профессиональным образованием. Все это, с придачей богатства и знатности, внушило Турбину большое уважение к Линтваревым. При встрече с ним жена Линтварева так ласково улыбнулась ему и показалась так изящна и аристократична, что учитель покраснел от радости и тут же решил непременно побывать у них в гостях, завязать прочное знакомство. Он долго

глядел вслед ее английскому шарабану. Он не видел, куда идет, мечтая о том, как он будет сидеть у Линтварева на балконе, вести интересный, живой разговор, пить прекрасный чай и курить дорогую сигару...

## V

В конце сентября, в октябре дожди лили с утра до ночи. Линтваревы уехали. Сад их почернел, стал как будто ниже и меньше. Деревня приняла темный, жалкий вид. Холодный ветер затягивал окрестности туманной сеткой дождя. В училище запахло кислой печной сыростью, стало холодно, темно и неуютно.

Турбин вставал еще при огне, в ту неприязненную пору, когда, после мрачной дождливой ночи, над грязными полями, над колеями дорог, полными водою, недовольно начинал дымиться бледный рассвет. Будил стук дверей. Ребята натаскивали на лаптях в переднюю грязи, возились, топали и кричали. В двери несло ледяной сыростью. С дрожью подходил учитель к умывальнику. Потом спешно пил горячий жидкий чай вприкуску и тушил лампочку. После ее желтого света в комнате синел холодный утренний сумрак. В этом сумраке учитель входил в класс и, завернувшись в тулуп, натягивая его на

холодеющие колени, садился за свой стол. Начиналась упорная работа. Сперва он горячился, напрягал все усилия говорить понятнее и сдержаннее, потом только смотрел, как сечет в окна косо́й дождь и тянутся обозы к заводу; мужики шлепали по грязи, накрывшись рогожами; от потных, потемневших лошадей валил пар. И все представлял учитель самого себя едущим на вокзал в телеге: телега медленно качается, хлюпает по дороге, и заливается-стонет ветер, гнет в поле одинокую голую березку...

Оживлялся он при говоре и толкотне уходивших учеников.

— Здорово льет? — спрашивал он Павла, засовывая ноги в старые большие калоши.

— Кажись, перестает, — каждый день отвечал на это Павел.

— По морю, яко посуху, — каждый день говорил лавочник, стоя под навесом кабака, и снисходительно смеялся.

Турбин, всегда в этот момент перебиравшийся на другую, менее грязную сторону дороги, махал с ответным смехом рукой и вдруг делал со всех своих длинных ног гигантский, отчаянный шаг. Шлепнув калошей в лужу и видя, что над этим прыжком покатывается со смеху сидящая за шитьем под окном лавочница, он, с кривой улыбкой, неловко пробирался под плетнем дальше.

— Писем, Иван Филимонович, нету? — кричал он издалека лавочнику. — Вы, говорят, на станции были?

— Пишут-с!

— То-то несуразный-то! — говорила лавочница, как бы с сожалением, качая головою и откусывая нитку.

Дьячок Скрябин был самый убогий человек в селе. Унылый, поблекший нос, жидкая коса, слезящиеся глаза, — все в нем напоминало старуху. Тяжело было глядеть, как он весной, в полую воду, или осенью, под дождем, брел к выгону в огромных растрепанных валенках, внутри которых была солома. На клиросе он читал и подпевал разбитым голосом так, словно он был выпивши или бредил. В избе у него, как и у большинства духовных, было довольно чисто и уютно, но толклось семь человек детей. Никто не обращал на них внимания. И сам Скрябин, и жена его только и думали с утра до ночи что об еде. Скрябин ел походя: то лазил в печку за картофелем, то пек яйца, то наливал через полчаса после обеда чашку похлебки, то жевал хлеб. Раза три или четыре в день он возился с самоваром, собирал щепки, раздувал его то губами, то старым голенищем. У жены Скрябина было приветливое, открытое и покорное лицо. Когда в октябре она умерла перед концом беременности, Турбин долго не мог без содрогания видеть ее хибарки.